*Равиль Бухараев. Стеклянные цветы чужбины. Ч. 1. // Бесконечный поезд. Избранные стихи и поэмы. Казань:Издательство «Магариф», 2001, с. 7 - 10.*

**Равиль Бухараев**

# СТЕКЛЯННЫЕ ЦВЕТЫ ЧУЖБИНЫ

*“Ах, если любит кто кого,*

*Зачем ума искать и ездить так далеко?”*

*А. С. Грибоедов*

Не знаешь, где застанет молчанье. Не знаешь, и, однако, в каких бы, родных ли, чужих ли краях ни выполнял обязанностей существованья, - все-то уловляешь его в непременной суетности дней. И для того ли, чтобы душой или разумом постигнуть окружающий мир и людей его? Никак. Единственно, оказывается, чтобы вспомнить себя самого.

Однажды я сидел на древесной скамье, и оно, молчанье, даровалось, и в тишине слышнее стало, как пахнет расцветшая в одночасье черемуха. Это было - да и где это было?

У памятника Бетховену в стесненной горами долине Карлсбада, а иначе, Карловых Вар. Сокровенное место: лесная елань, горный распадок, уцелевший в посильном уединенье на подступе к этому кукольному городку на целительных водах. Сюда, на край его, к старинному Почтовому двору, сходятся все врачебные тропы, по которым некогда с курортной обстоятельностью хаживали Гете, Шиллер, Бетховен. Они же и присутствуют здесь: бюст, барельеф, памятник. Отрадное место - еще и затем, что утешно сознаешь сопоставительную случайность и очевидную мгновенность собственного бытия.

Я стал приходить сюда чаще, когда в начале мая расцвела черемуха. Я давно не встречал нигде черемухи, а тут, приютясь у высокого парапета, которым окружен бетховенский монумент, целое деревцо вдруг очнулось и тихо, исподволь заснежилось, забелело. Прожив десять лет в Англии, в южной ее части, я, пока еще было время смотреть по сторонам, надолго пресытил взор пенным лесным цветеньем розовых и алых азалий, бело- желтых рододендронов, разнообразной жимолости, роскошных водяных лилий и кувшинок. Даже сирень, звездная ежевика и полевые лютики попадались мне навстречу, но вот черемухи я не встретил нигде, хотя она считается изначально английским растеньем и называется "bird cherry" - "птичья вишня". То ли не пришлось мне столкнуться с нею по весне, то ли, по местному обыкновению, слишком скрытна в Англии и черемуха, и не струится явственно с ее ветвей чистый, горчащий и водянистый аромат, но она не явилась мне ни в природе, ни в парках, прячась, видимо, много севернее моих мест обитания.

И что с того, спросится. Ничего, конечно, особенного, но именно там, в заповедном распадке, захотелось мне припомнить, где же я услышал черемуху впервые? Вспять по памяти, промелькнули передо мной цветущие верховья Казанки, снежные кружева приречных черемух и луговой малиновый шиповник; да и в городе, центр или окраина, еще издали вея всей юной свежестью существованья, обильно слышна была она, татарская черемуха, что и зовется-то на бабушкином языке как-то цветуще и шелестяще, таинственно, по-вечернему: "шомырт". Но была ведь она и еще раньше, вовсе в детстве, на приволжской дачной станции Обсерватория: цвела, ветвистая, гроздьями в раннем июне над темной болотистой бочагой в самом низу деревенского огорода, да не там ли, в ветвях, и щелкал- заливался по ночам соловей?

Не помню.

Другое помню: весельная лодка на широкой Волге, у противоположного, горного ее берега, рыбалка, и вдруг - гроза, и река закипает, а нас трое - я, папа и друг папиной молодости, дядя Володя. Господи, им лет по двадцать пять, а мне - четыре; я все еще говорю по-татарски - на первом своем языке, языке родственной любвии того светлого, бесконечного бескорыстия, с которым относятся ко мне родные...

Как же свежо, прозрачно, ярко, пронзительно все! Кипит, пузырится плес; они налегают на весла - к берегу, к берегу. Укрылись в прибрежных кустах: дрожь, мокро и зябко, - по тонким веткам, в развилки и скрещенья, бегут крупные капли, накапливаются, падают; узкие листья, где в желтое, где в красное, вздрагивают и трепещут, а перед глазами - кисти и кисти поспевающей черемухи: красные ягоды где налились, а где лишь наливаются сочной чернотой. А потом гроза уходит, убывает, сходит на нет; возвращаемся в лодку с мокрым ворохом черемуховых кистей, и от ягод чернеют пальцы, а на языке остается зябкая оскомина...

Невероятный, до хруста и блеска отмытый грозою, прозрачный, чистый и до чего же светлый простор кругом: крепко сбитая туча, лениво клубясь, уходит за Волгу, на сосновые боры, и на ее место заступает солнце, и лучистый воздух разливается прохладой и радостной, бодрой, верной надеждой, и все это вместе называется - раздолье и вольная воля, которых нет и не будет у меня больше никогда и нигде.

Куда же я дел, где утратил все это?

Много лет не оказывалось ни времени, ни места вспоминать о черемухе, перебирая все ее имена и названья на известных мне языках: шомырт, черемуха, bird cherry... Или вот - zelnicemeggy, тоже вишенное, но почему-то звонкое, утреннее, рассветное - из венгерского словаря. Каждое слово - целая симфония ощущений и воспоминаний, но как различно звучат и действуют они, и есть ли на свете сила, чтобы сплошь совместить их в душе, не терзая ее, не разрывая на части?

Чтобы понять такое, и полезно молчанье. И вот однажды, на закате, окончательно промелькнули и укатились, шурша, все автомашины - по шоссе, идущем ниоткуда и извивом своим повторяющем лекало реки, - а река называется Тепла. Прошли мимо все люди; в наступившем безлюдьи скрылись из виду крошечные, крохотные, и совсем уж чуточные собачки, и на молодой траве пологих горных склонов стало пусто, и слышно стало, как цокают и цвикают над отчетливо зажурчавшей рекой предвечерние птицы.

Сидел и смотрел: медленно вечерело. В уютном распадке обретали значенье чужие деревья - кипарисы и сосны; зацветали вдогон остальным деревам весеннею клейкой листвою высокие и раскидистые, и уже изначально янтарно-красные клены, что и сейчас стоят полукругом за спиною лобастого, погруженного в себя и совсем глухого Бетховена в бронзовых ботах, который все уходит, уходит на запад, со сжатым своим кулачищем, запечатленною гривой волос и музыкой, никому еще, кроме него, не слышной, и потому понапрасну терзающей душу.

Сидел и смотрел, и не было ни в чем никакой новизны: все привычно сходилось в молчанье - ветер чужбины, шелест новой листвы и разговоры невидимых птиц. В подножье загадочных богемских гор, огибая лесную долину, эта чешская Тепла темно и прозрачно журчала, как вообще умеют журчать иноземные речки.

Так журчит речка Неккар: эта - в Тюбингене, у желтой башни поэта Гердерлина, оглашенного сумасшедшим (там плакучие ивы, чьи столетние ветви, нависая над струями, набухая росной зеленью почек, тоже умеют тревожить неумное сердце); так журчит речка Уэй, а эта - в непорочных и чистых, поросших в тумане кустами английских лугах. Но было - да разве же не было? - в струях и что-то иное, втайне сродное многим и многообразным стеклянным цветам - тем самым, из которых мы с Лидой в те минувшие дни, заходя в карловарские лавки, добирали нетленный букет для английского дома.

В том доме, на столике у прозрачной стены уже были три цветка из стекла, привезенные из Венеции и помещенные в граненую вазу: в своей причудливой неувядаемости такие цветы - розы чистого пламени, прозрачно-фиолетовые тюльпаны, розовые пионы, голубые и белые ирисы, алые каллы - вовсе ведь не бездушны и не бездыханны: если всмотреться - увидится завершенность труда стеклодува и даже он сам, запечатленный в благородстве труда. А что до благоуханья, то в Англии и живые цветы почему-то не пахнут. То есть, если уж очень прислушаться, пахнут, но разве же так исступленно, как пахли когда-то в Казани сирень или ландыш, душистый табак и вечерние флоксы?

Сидел и думал - что же мне, Господи, нужно для конечного утешения сердца? Среди очевидной, живой и чужой благодати беспокойство опять поднималось со дна, и сердце, как повелось, тревожилось всуе непостижным благолепьем чужбины. Но какая же это печаль - знать себя досконально. Все то же желанье, ненасытное и невозможное, в беспокойстве своем переходящее в ярую страсть: желание - слиться со всем, что живет, влиться в мир и исчезнуть, раствориться и стать, хоть ничтожной, но и неотторжимой частичкой Единства. Но в каждой стране - свой язык, на котором говорит даже воздух, разлитый в лесах, и как перескажешь?

Встал со скамьи и коснулся черемухи - с ребяческой надеждой приблизил цветущую гроздь. Она не откликнулась: нежно пахла прекрасной чужбиной. Так и случилось молчанье. Что же встало навек между мной и чешской живою черемухой, между мною и миром? Несказанность - недовысказанность - незапечатленность того, что я знаю, доколе вам мучить меня? На чужбине - всем впустую излившимся сердцем, всем дарованным мне существом ощущая, чуя Единство - доколе (о сладостное, незабвенное слово!) мне маяться жалким казанским сиротством, ни на одном из наречий не умея сказать ничего, что утешило б душу?

И вообще, почему есть чужбина, когда и отчизна, со всеми своими цветами, отнялась еще в детстве - вместе с первым родным языком?

Достучится ли это простое признанье, что, живя заграницей, я хочу легко и свободно говорить по-татарски, не прозой, так хоть стихами? Хочу - но уже никогда не сумею, как не сумею успокоиться чужими цветами, ни стеклянными, ни по-иному живыми, иномирным их блеском и благоуханьем, неродной, хоть и внятной мне речью. В двунадесяти языках, оказалось, не сыскать утешенья безъязыкости, изначальной и косной, которая только и есть *подлинность существованья.*

Исцеляюсь молчаньем, где немота хотя бы имеет значенье и смысл: все равно не изъяснится душа, как должная Богу; не исполнится предназначенье, если и было. Не знаю, поймется ли сила такого терзанья - разве что теми, кто, как и я, остался немым на родном языке, для кого целый мир потому и явился чужбиной, - желанной, как возвращение в детство.